

© В.В. Поддубиков

## ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ДЕСЯТИЛЕТИЯ РОССИЙСКОГО ОПЫТА И КОНТЕКСТ МИРОВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПОВЕСТКИ

Представленная к обсуждению статья довольно остро проблематизирует методологический кризис в российской практике прикладной этнологии (социальной антропологии) и, в частности, такого важного ее направления, как экспертиза социального воздействия промышленных проектов на сообщества коренных малочисленных народов. Вне всяких сомнений, это своевременное выступление уже потому, что прозвучало оно в период очередной (и, похоже, финальной) итерации в затянувшемся процессе формирования в России федерального законодательства, регулирующего процедуру этнологической экспертизы. Не так давно на федеральном портале проектов нормативных актов завершилось общественное обсуждение проекта Федерального закона “Об этнологической экспертизе в Российской Федерации”, призванного урегулировать (централизовать под эгидой Федерального агентства по делам национальностей, если говорить более точно) процедуру этнологической экспертизы, которая, как ожидается, уже в начале 2019 г. может получить статус государственной и стать обязательной для хозяйствующих субъектов, чья операционная деятельность потенциально затрагивает “объекты этнокультурного наследия граждан РФ”<sup>1</sup> (Проект 2018). Стало быть, государственная повестка в данном вопросе в основном ясна, если не вдаваться в нюансы практической реализации отдельных норм, соответствие которых реально существующим проблемам и, что важнее, ожиданиям со стороны коренных народов вызывает множество вопросов. Тем актуальней выглядит открытая на страницах “Этнографического обозрения” дискуссия, и тем больше ожиданий от ее итогов.

Обсуждаемый текст важен и тем, что стимулирует рефлексию по существу накопленного в регионах страны исследовательского опыта, научных основ российских практик этнологической экспертизы, их встроенности в мировой контекст и повестку прикладной антропологии. По сути, прозвучавший в рассматриваемой статье основной призыв “...попытаться понять, где же мы находимся”, идет значительно дальше, затрагивая вопросы профессиональной идентичности наших российских коллег. Пожалуй, любому участнику этой дискуссии невозможно полноценно и честно высказаться, не определив для себя, в какой степени его личный исследовательский бэкграунд и полученные результаты соотносимы с давно существующими за рубежом “стандартами качества”, актуальными теориями и соответствующими концептами. Если же подобное соотнесение бессмысленно (нецелесообразно) по каким-либо причинам, то, вероятно, их стоит обосновать в своей реплике.

Признавая, что последняя позиция имеет полное право на существование, все же довольно трудно избавиться от ощущения ее изначальной обреченности. По прошествии нашумевшей в свое время дискуссии об архитектуре научной комму-

---

**Владимир Валерьевич Поддубиков** | <http://orcid.org/0000-0002-4166-0043> | [poddub@gmail.com](mailto:poddub@gmail.com) | к.и.н., заведующий лабораторией этносоциальных и этноэкологических исследований | Кемеровский государственный университет (ул. Красная 6, Кемерово, 650000, Россия)

Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов: Российский научный фонд, <https://doi.org/10.13039/501100006769> [проект № 15-18-00112]

никации в гуманитарных и обществоведческих дисциплинах на страницах журнала “Антропологический форум” (Соколов, Титаев 2013; Бермус, Бучатская и др. 2013) любого рода апологетика “оригинальной отечественной модели” этнологической экспертизы вне контекста мировой исследовательской повестки будет проявлять признаки “туземной науки” со всеми присущими ей слабостями, заблуждениями и ограничениями, на которые прямо указывает автор рассматриваемой статьи, говоря о преобладании в отечественной практике этнологической экспертизы “наивной аналитики”, основанной на ритуализированном поиске эмпирических подтверждений существования у коренных народов сегодня видимой этнической специфики “характерного образа жизни”, “традиционности и исконности” хозяйственных практик и систем жизнеобеспечения, а также других концептов, “...не имеющих явной познавательной и эвристической ценности”.

Что в итоге все это означает на практике, хорошо видно из приведенных моим уважаемым визави примеров и в особенности того, который касается алтайской экспертизы конца 1980-х годов по факту проектов Катунской и Чемальской ГЭС. Фактически, исследователи, погрузившись в мир порожденных ими конструкций, сформировали чисто теоретическую модель алтайской этничности, имеющую мало отношения к реальной действительности. Романтизированный образ уязвимого этноса, готового вот-вот исчезнуть под натиском планируемых индустриальных проектов, как затем оказалось, не соответствовал реальным настроениям носителей “исчезающей” этнической культуры. По сути и все остальные анализируемые в обсуждаемой статье кейс-стадии, включая обе Кузбасские экспертизы (2004 и 2008 гг.), в реализации которых мне довелось участвовать лично, отнюдь не лишены этих недостатков, фокусируясь прежде всего на этническом аспекте анализа конфликтных ситуаций, практически не обосновывая этот фокус и принимая его как неоспоримую норму.

Но могло ли все сложиться иначе? Могла ли методология прикладной антропологии в российских условиях развиваться иным путем, в большем соответствии с мировыми трендами и принятыми за рубежом стандартами? Вероятнее всего нет, если принять во внимание особенности российского законодательства, выделившего коренные малочисленные народы в отдельную правовую категорию и тем самым сформировавшего заказ на экспертную оценку социально-экономического положения, демографической, экономической и социокультурной устойчивости именно этой общности. Начиная с появления в ранние 1990-е годы первых законодательных норм и актов в защиту прав коренных малочисленных народов вся дальнейшая логика развития практики этнологических экспертиз заключалась именно в фиксации и обосновании их этнических отличий от основной массы населения страны. Разумеется, при анализе различного рода социальных конфликтов с участием представителей коренных малочисленных народов возобладали алармизм и склонность характеризовать индигенные сообщества как уязвимые перед лицом современных угроз.

Соответственно, в текстах большинства экспертиз, осуществленных в России за тридцать без малого лет, значительное место занимают (неоправданно?) детальные описания всех значимых компонентов этнического своеобразия обследуемых экспертами групп коренных малочисленных народов. В этом смысле увлеченность российских этнологов “наивной аналитикой” и в целом концептуализация этнологической экспертизы как этноориентированного прикладного исследования, по-видимому, закономерны. Можно сказать, что все это является опосредованным следствием многоукладности российского общества, вплоть до настоящего времени поддерживаемой государственным правом.

Возможность достраивать на уровне субъектов РФ нормативно-правовую базу, адаптируя ее под местные условия, только усилила разнообразие применяемых

в стране практик этнологических экспертиз. В Республике Саха (Якутия), как известно, они регламентируются республиканским законодательством, чего не наблюдается ни в одном другом регионе. Этот опыт сегодня, пожалуй, может служить примером едва ли не максимальной идеализации концептов этнической отличительности и “традиционности” коренных малочисленных народов, когда в процессе экспертизы составляется заключение, в процентах(!) измеряющее прогнозируемое воздействие промышленных проектов на “этнологическую среду” в местах “традиционного проживания” коренных малочисленных народов и их “исконной” хозяйственной деятельности.

В целом же, обобщая сказанное выше о корреляции между практикой этнологических экспертиз в России и содержанием нормативной базы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов, необходимо заметить, что ситуация, по-видимому, не будет радикально меняться до тех пор, пока язык российского законодателя и государственных чиновников не перестанет транслировать в общество именно ту наивно-романтическую терминологию, о критике которой идет речь в обсуждаемой нами работе. В связи с этим закономерен также вопрос о присутствии/отсутствии российских этнологов в качестве экспертов на тех рабочих площадках органов власти, на которых подобная идеология формируется как основа государственной (этно)национальной политики. Очевидно, что здесь роль этнолога должна быть не менее значимой и активной, чем в “поле” в процессе сбора и анализа материалов для оценки сложившейся ситуации.

Еще одна нежелательная особенность российской практики этнологической экспертизы, отмеченная в статье, открывающей настоящую дискуссию, состоит в явном недостатке строгой аналитики и, как следствие, доказательной базы для высказываемых рекомендаций по урегулированию конфликтов на землях коренных малочисленных народов и развитию механизмов компенсации ущерба, нанесенного местным сообществам добывающими компаниями. В данном аспекте критики этнологической экспертизы как прикладной практики можно частично с инициатором дискуссии согласиться. Однако к этому необходимо добавить, что главная проблема, возможно, заключается не только в слабой аналитической проработке материала или ее фактической замене на эмоциональную риторику по существу возникающих для коренных малочисленных народов угроз в связи с развитием на их землях промышленных проектов по добыче полезных ископаемых или строительству объектов индустриальной инфраструктуры.

Возможно, гораздо более серьезным ограничением для развития самой практики экспертных этнологических (социально-антропологических) исследований в России является именно несопоставимость и неуниверсальность результатов экспертиз, выполненных различными научными коллективами. Их из-за существенного разнообразия применяемых подходов, решаемых задач и используемых данных фактически невозможно между собой сравнить, а, стало быть, невозможно и понять, какая из имеющихся практик наиболее близка к достижению реального улучшения ситуации. Если использовать для ответа на этот вопрос наиболее объективный критерий — достижение/недостижение реальных эффектов в части улучшения социально-экономического положения обследованных групп коренных малочисленных народов, редукции конфликтов на их землях, перехода местных сообществ и добывающих компаний к реальной практике взаимовыгодного сотрудничества и соуправления территорией, — то, кажется, ни одна из осуществленных экспертиз не может быть признана на 100% эффективной, возможно, за исключением сахалинской (и то с известной долей скепсиса). В подавляющем большинстве случаев ключевые угрозы для индигенных групп продолжают существовать и способствовать росту

социальной напряженности: ни одна из добывающих компаний не прекратила и не снизила добычу ресурсов и даже не перенесла ни одну из своих производственных площадок на лицензионные участки недр, отстоящие от мест проживания и хозяйственной деятельности местных сообществ; ни один из промышленных проектов в России не был заблаговременно согласован с местной общественностью в виде ее добровольного непринужденного согласия<sup>2</sup>; коренные народы и их представители практически не имеют реального доступа к общественному контролю производственных процессов и их опасных факторов и т.д. Максимум, чего в ряде случаев удалось достичь, это финансирование за счет средств недропользователей отдельных программ социальной ответственности, которые к тому же не всегда носят системный характер и могут в любой момент прекратиться по истечении сроков действия договоров социального партнерства.

В этом контексте нерешенных вопросов, которые тем не менее в перспективе займут свое место в российской повестке, видится довольно масштабное пространство для новых практик прикладной этнологии (социальной антропологии), необходимость которых уже сегодня начинает явственно проявляться в отдельных регионах. Как минимум это связано с задачами не просто оценивать состояние “этнокультурной среды” коренных малочисленных народов на стадии согласования промышленного проекта, прогнозировать потери местных сообществ и определять на этой основе компенсационные меры, но также осуществлять мониторинг на всем протяжении его жизненного цикла вплоть до завершения добычи и реализации рекультивационных мероприятий. В этом направлении применимыми в российских условиях могут оказаться уже зарекомендовавшие себя за рубежом практики, такие, к примеру, как *Community Based Participatory Monitoring* (Vanclay 2015: 6).

Следует отметить, что в российской практике взаимодействия добывающих компаний и местных сообществ проблема перехода к эффективным формам взаимодействия уже поставлена. Предпринимаются первые попытки разработать и внедрить соответствующие механизмы. В этом смысле небезынтесен опыт угольных компаний Кузбасса (Поддубиков 2017) последних двух лет, в течение которых в регионе разработаны и прошли предварительные согласования два важных документа: “Руководство для бизнеса по построению социального диалога с коренными малочисленными народами: алгоритм действий” (Перфильева и др. 2017), а также типовая форма корпоративного стандарта для угольных предприятий “Взаимодействие с коренными малочисленными народами”. В основе своей эти инициативы направлены на вовлечение представителей коренных малочисленных народов в: (1) оценку социального и экологического воздействия на местные сообщества со стороны производственных процессов угледобычи; (2) определение размеров и форм компенсаций за наносимый угольными компаниями ущерб среде обитания, природопользованию и образу жизни коренных народов; (3) формирование программ местного социально-экономического развития; (4) решение вопросов, связанных с вынужденным расселением и переселением уязвимых групп населения территорий, попадающих под воздействие угольных компаний.

В настоящее время эти практики по ряду причин еще не запущены, но в будущем они могут потребовать внимания антропологов и этнологов в части организации систематического мониторинга (с вовлечением местной общественности) ключевых показателей достижения эффективного двустороннего взаимодействия и снижения социальной напряженности в районах угледобычи. Кстати, для Кузбасса эти цели актуальны не только в контексте коренных малочисленных народов, отдельные локальные группы которых в действительности испытывают на себе все самые тяжелые негативные воздействия со стороны добывающих компаний, но также для всего

населения в районах экстенсивной добычи и переработки каменноугольного сырья. Следуя логике западных практик прикладной антропологии, и они должны стать объектом соответствующих исследований и вытекающих из них решений.

В заключение своего комментария к статье «“Этнологическая экспертиза”: российский опыт оценки социального воздействия промышленных проектов» я хотел бы еще раз отметить своевременность заданной ею дискуссии, что вполне отчетливо явствует из наличия перспективных задач и актуальных областей приложения экспертизы коллег-этнологов и антропологов в целях снижения социальных рисков экстрактивизма. Объективно наша дисциплина, точнее ее прикладное направление, в этом процессе может играть одну из ключевых ролей.

### *Примечания*

<sup>1</sup> Ст. 1 процитированного законопроекта определяет этнологическую экспертизу как оценку “...социально-культурных последствий внедряемой хозяйственной деятельности и иных управленческих решений на объекты этнокультурного наследия граждан Российской Федерации”, что существенно отличается от до сих пор существовавших интерпретаций, в т.ч. тех, что лежали в основе уже осуществленных в российских регионах экспертных исследований. Так или иначе, все они фокусировались на оценке воздействия (социального, экологического) на локальные сообщества коренных народов промышленных проектов, и именно их риски в первую очередь старались минимизировать эксперты-этологи. Собственно, в этом направлении и был наработан весь имеющийся исследовательский опыт. Новая же норма расширяет предметное поле этнологической экспертизы, уходя от фокуса на коренных народах и их проблемах, но одновременно и обезличивает его, вводя никак не поясняемое понятие объекта этнокультурного наследия граждан РФ. В законопроекте присутствуют указания лишь на то, что перечень таковых объектов будет составлен органами государственной власти. Критерии составления перечня, равно как и само содержательное наполнение данной правовой категории, в настоящий момент не ясны. Таким образом, “огосударствление” этнологической экспертизы в России, возможно, будет связано с существенной формализацией самой процедуры и (чего бы никак не хотелось) ее исследовательской составляющей. Оставим здесь без комментариев, каковой в перспективе может быть реакция представителей коренных народов, регулярно требующих проведения этнологической экспертизы, когда станет ясно, что для защиты прав аборигенов, скажем на территории фактического традиционного природопользования, необходимо сначала обосновать их включение в перечень объектов этнокультурного наследия граждан РФ. По сути, это само по себе уже может (или должно) послужить поводом для проведения экспертизы. Круг замкнулся...

<sup>2</sup> Ту стандартную практику общественных слушаний, которая повсеместно применяется, оставим здесь без комментариев.

© Д.А. Функ

### **ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ: ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР**

Начать свой ответ мне хотелось бы с двух ремарок. Первая — это даже не столько ремарка, сколько слова благодарности, которые я адресую редакции “Этнографического обозрения” за организацию обсуждения моей статьи и всем коллегам, которые сочли возможным откликнуться на приглашение журнала принять участие в этой дискуссии\*. Искренне признателен коллегам! Вторая ремарка касается того, что за время с момента подачи статьи в редакцию до того дня, когда я получил все комментарии и сел за написание ответа, в Португалии, например, вышел перевод известной работы